

СЕМАНТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ ЧИСЛА В ПРАСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

Грамматический строй праславянского языка к настоящему времени в основном реконструирован, но задача состоит в том, чтобы эта реконструкция содержала не застывшую схему праформ, парадигм и конструкций, а динамичную систему в ее формировании и развитии. Только в этом случае праформы наполнятся действительным содержанием. Цель ее – познание смысла, уровня абстрагирования мысли, определение факторов, влияющих на развитие языкового сознания. Это осуществимо, если сравнительно-историческое исследование древнейшего состояния индоевропейских языков, в том числе и славянского, дополняется типологическими аналогиями или параллелями в иноструктурных языках. Сравнительно-типологический метод – важное достижение языкознания нашего времени, определяющее его перспективы на будущее.

Формирование и развитие грамматических категорий является показателем абстрагирующей деятельности мышления, развития и последовательного совершенствования логических форм отражения, генетической связи и взаимодействия языковых и мыслительных категорий.

В плане взаимоотношений языка и мышления, грамматики и логики и – шире – речевой деятельности и языкового сознания по-прежнему особый интерес для исследования представляет грамматическая категория числа. В историческом движении форм, в перестройке парадигм, в изменении самой структуры и характера числовых оппозиций правомерно ожидать отражение глубинных процессов развития грамматической семантики, закономерностей языкового абстрагирования мысли в силу очевидной мотивированности этой категории количественными отношениями в действительности, в силу ее семантической прозрачности.

Есть еще существенный момент, указывающий на актуальность темы. В развитии лексико-грамматической системы языка активную роль играют внутренние, противоположно направленные, но взаимосвязанные и взаимодействующие процессы – лексикализация грамматических форм и грамматикализация слов и словообразовательных типов. Эти процессы имеют фундаментальное значение для развития языка. Они могут быть определены даже как механизмы его развития.

История категории числа, с одной стороны, служит яркой иллюстрацией этих процессов, поскольку грамматизация является магистральной линией ее развития и парадигматизации, а с другой – познание их раскрывает закономерности формирования и функционирования грамматической категории числа.

* © В.И. Дегтярев

Современный характер универсальной и облигаторной категории словоизменения категория числа сформировала на индоевропейской основе вместе с оформлением флексии, да и то не сразу, а лишь тогда, когда флексия была приспособлена для выражения количественных отношений наряду с выражением падежных отношений и родовых значений. Но к этому состоянию ее привел долгий и сложный путь развития. Индоевропейское сравнительно-историческое языкознание установило, что развитие грамматического строя индоевропейских языков шло от древнейшего, дофлективного к флективному состоянию. Так, И.М. Тронский в работе "Общеиндоевропейское языковое состояние" писал: "Мы имеем все основания доводить дальнюю реконструкцию до эпохи, предшествующей возникновению флексии"¹. Действительно, флексия не является врожденным свойством грамматического строя протоиндоевропейского языка-основы. Реконструкция индоевропейской именной и глагольной парадигм показывает, что именные флексии образовывались на основе взаимодействия детерминантов (основообразующих суффиксов) и местоименных форм, как в именительном падеже множественного числа у имен на *-ō- окончание *-oi в примерах типа греч. λύκοι, лат. lupī (из более древнего lupoi), лит. vilkai, ст.-слав. вѣтъци – по местоименному склонению типа греч. дорич. τοι, др.-инд. te (<tai), слав. tu, лит. te – из tai, с участием местоименных или наречных частиц и послелогов в формах косвенных, конкретных, особенно местных падежей; равным образом флексии лично-временных форм глаголов также зачастую имеют местоименное происхождение, как первое лицо настоящего времени. Если обратиться к частным случаям, то можно вспомнить, что известное окончание -a в формах множественного числа среднего рода и, отчасти, в формах единственного числа женского рода, причем не только в славянских, но и в ряде других индоевропейских языков, восходит к индоевропейскому основообразующему суффиксу, а его первоначальное удлинение связано с падением ларингала: *ā < *aH.

Праиндоевропейское языковое состояние на его древнейшем этапе характеризовалось отсутствием собственно грамматических форм множественного числа. До флексии количественные значения должны были выражаться лексически или с помощью словообразовательных суффиксов. Характерно в этой связи признание И.М. Тронского: "Множественность, выражаемая в индоевропейских языках одной лишь флексией, – сравнительно молодая категория, которой в дофлективном состоянии индоевропейских языков могла предшествовать только собирательность"². Слово в своей неизменяемой форме, равной основе, совмещало значения обоих чисел – и единичности, и множественности, поскольку эти значения осознавались. Но и флексия не сразу была приспособлена к выражению количественных значений, а применялась сначала для оформления связи слов в предложении и для выражения субъективно-объективных отношений. Известно, что праиндоевропейские окончания именительного падежа множественного числа *-es и

единственного числа *-s восходят к общему первоначальному архетипу, окончание ед.ч. *-s могло образоваться из окончания мн.ч. *-es путем выпадения -e-. Это свидетельствует о том, что сначала формы на *-es/*-s числового значения не имели, т.е. не различались в числе. Устанавливается, далее, что эти окончания имеют общее происхождение с окончанием генитива ед.ч. *-es/*-os. Значит, исконно они выражали значение субъекта действия, активно действующего лица или предмета и не различались по числам. В хеттском языке индоевропейские окончания родительного падежа единственного числа *-es/*-os и множественного числа *-om выражали свои значения без различия в числе; закрепилось как норма первое из них в виде -as, а второе, в виде -an, встречается в древнейших памятниках и тоже в значениях как единственного, так и множественного числа³. Несомненно, это явление достаточно архаичное, восходящее к праязыковому состоянию.

Тем более в косвенных падежах формы единственного и множественного числа сначала не различались. На это указывает, например, общность окончаний генитива, аблатива и инструменталю единственного и множественного числа в хеттском языке, несомненно отражающая праязыковое состояние. Равным образом древнегреческие, отмеченные у Гомера, формы на -φι в значениях датива, инструменталю и локатива совмещали значения обоих чисел. По происхождению это были наречные формы (индоевропейские на *-bhi), и для них различение чисел не существенно, ср.: ὄρεσφι 'в горах' и θύρηφι 'за дверью'⁴. Их славяно-балто-германские соответствия на *-mi (инструменталь ед.ч.: слав. -мь и лит. -mi) и на *-mis (инструменталь мн.ч.: слав. -ми и лит. mis), тоже наречные, сначала также были индифферентны к числу.

В сравнительной грамматике известно, что дифференциация падежных форм множественного числа происходила в праиндоевропейском позже единственного, следовательно, падежные формы совмещали в себе оба числовых значения. Следовательно, дальняя реконструкция общеиндоевропейского языкового состояния может обнаружить в нем некое подобие общему числу, типологически свойственному языкам корневого и агглютинативного типов.

Праславянский язык, как он реконструируется на основе сравнительных данных и истории письменности, отражает новое состояние грамматического строя индоевропейских языков. Это вполне сложившийся флективный строй, более близкий современному, чем древнейшему, дофлективному состоянию, однако в нем просматриваются некоторые следы далекого прошлого и, в частности, реконструируются праформы со значением общего числа. Правда, сюда относятся лишь отдельные примеры индоевропейского происхождения. Обратимся к реконструкциям. Слав. мн.ч. *děti* во всех древних славянских языках соотносится с ед.ч. *děte*, но это соотношение не исконно: форма единственного числа *děte* образована хотя и в общеславянский период, но позже формы

множественного числа по образцу славянских названий детенышей или молодых животных на *-ent типа *prase, tele, gqse*. Исконная форма единственного числа – праслав. **děť* ‘питающееся’ или ‘вскармливаемое’ – от и.-е. основы **dhēi(t)-/dhoi(t)-* ‘вскармливать, питать’, оформленной причастным суффиксом -t-. Это форма совмещала значения единичности и множественности, мыслимой собирательно. Собир. *дѣтъ* ‘дети’ отмечено в сербско-славянских текстах евангелия, от него производна уменьшительно-ласкательная форма *дѣтъца*, давшая современное *děca*, функционирующее на месте формы множественного числа и по существу ставшее множественным числом к ед.ч. *děte*. В современных говорах сербского языка известно собир. *di`jet* ‘дети’. Ср. также болг. и макед. *деца*, словен. *děca* при ед.ч. *děte*. Вместе с тем слав. **děť* обозначало и единичность – ‘дитя, ребенок’. В этом значении оно сохранилось в чешском и польском языках: польск. силез. *dzieć*, чеш. морав. *děť*, м.р. ‘ребенок, мальчик’.

Слав. мн.ч. **ludьje* образовано от ед.ч. **ludь* с общим числовым значением ‘народ/люди – человек’. Основа слова **leud-* – индоевропейская с первоначальным значением ‘народившиеся, растущие’, та же, что в готском глаголе *liudan* ‘расти’. Праформа **lēudis* имеет соответствия в литовском собир. ед.ч. *liáudis* ‘народ, люди’, ср. также др.-в.-нем. *liuti* ‘народ’, ср.-в.-нем. *Liute*, заменившее форму ед.ч. *liut*, современное мн.ч. *die Leute* ‘люди’. В латышском языке это форма мн.ч. *lāudis* ‘народ’. Но в прусском языке ей соответствует форма со значением единичности *ludis* ‘человек, хозяин (зажиточный крестьянин)’, ср. также бургундское ед.ч. *leudis* ‘свободный человек; муж’. Ясно, что праславянская форма **ludь* имела общее значение числа, совмещавшее единичность и множественность. Современное мн.ч. *люди*, известное в том или ином оформлении во всех современных славянских языках, праславянское по происхождению, образовано от первоначального ед.ч. **ludь*, которое не сохранилось. Но от нее образована форма единичности *людинь*, широко известная в древнерусском языке.

Полагаем, что значения единичности и множественности совмещали древние этнонимы, оформленные – независимо от происхождения основ – как древнеславянские словообразовательные типы на -ь и -а, например, др.-рус. *ливь* собир. ‘ливы’, ср. соответствие в латышском *lībis* ед.ч. в единичном значении ‘лив’ и подобные имена собирательные в древнерусском языке: *весь, донь* ‘датчане’, *русь, чюдь, корсь* или *моравы, печера, угра, свѣя, мѣря* и под. Сингулятивы типа *русинь, угринь* вторичного и более позднего образования. Видимо, такая двойственность семантики, явно неудобная для говорящих, объясняет применение форм мн.ч. от этнонимов в равноценных с формами ед.ч. значениях: ед.ч. *русь* и мн.ч. *руси* ‘русичи’, аналогично – *ливь* и *ливы*, *весь* и *веси*, *угра* и *угри*, *прусь* и *пруси*, *корѣла* – *корѣлы*, *сѣверь* – *сѣвери* и под., что обильно представлено в старорусских летописях.

Совмещение значений единичности и множественности в этнонимах – явление вовсе не только древнеславянское. Д.Н. Кудрявский отметил это в древнегреческом: "Единственное число обыкновенно обозначает что-либо как единицу, причем эта единица сама может быть и собирательной, напр., ὁ Πέρσης может значить не только '(один) перс', но и в собирательном смысле 'перс, персы'⁵.

Можно заметить, что имена с общими значениями числа образуются нередко от вербальных и адъективных основ, выражающих общие понятия. Слав. **ьstь*, как полагает О.Н. Трубачев, имело первоначально собирательное значение 'родившие' и образовано от индоевропейского глагольного корня **tek-* 'рождать' (Трубачев. Слав. терм. родства 126). Но наряду с этим оно, очевидно, могло выражать и единичность, ибо относилось к лицам как мужского, так и женского рода, ср. рус. *тесть* 'тесть' и др.-польск. *teść* 'теща', словин. *čiesc* то же. Др.-рус. *теща*, видимо, более позднее. Этот пример стоит в одном ряду с ранее отмеченными праславянскими **děty* и **l'udy*. Но все же формы, совмещающие единичность и множественность, не замыкаются этими типами. Укажем на примеры более позднего происхождения, в частности, с суф. *-ин-а*: др.-рус. *дружина* – собирательное 'товарищи, спутники, соратники' (отсюда и *дружина* как 'войско') и единичное – 'друг, товарищ, спутник; дружинник; супруг или супруга'. Поэтому в Повести временных лет по Лаврентьевскому списку XIV в. слово *дружина* употребляется и во множественном числе: *поимши малы дружины* (Л 16, 946 г.); *се идетъ вы Стѣславъ... съ малыми дружины* (Л 23, 971 г.).

Таким образом, есть основания предположить, что словообразовательному отношению единичность–собирательность генетически предшествовало так называемое общее число, совмещавшее в единой форме выражения, по-видимому, равной основе, противоположные значения единичности и множественности. Следует, однако, оговориться, что речь идет лишь о следах значения общего числа. Нельзя ставить знак равенства между формами общего числа, обладающими, скажем, в адыгских языках согласованием глаголов в обоих числах в зависимости от значения подлежащего единственного или множественного числа⁶, и тем, что дали нам вышеперечисленные факты: в них – лишь указание на то, что слово могло совмещать значения единичности и множественности в общей форме, пока язык не выработал для их выражения специальные средства. Но такое состояние можно представить как исходное для праиндоевропейского языкового единства в его дальней реконструкции.

Праславянский язык характеризовался развитой флексией, и в нем формы общего числа уже не функционировали. Они были вытеснены еще на индоевропейской основе морфологически выраженной оппозицией единственного и множественного числа, которая, по-видимому, имела деривационный характер. Ясно, что множественность, выраженная лексически, есть собирательность. На базе форм с общими значе-

ниями числа сформировались словообразовательные типы собирательной множественности. Имена собирательные – архаическое выражение идеи множества. Они генетически предшествуют в языках разных типов появлению грамматической парадигмы форм единственного и множественного числа, предшествуют оформлению флексии, с которой связана парадигматизация категории числа. Вместе с собирательной множественностью и единичность находят специальные средства для своего выражения – сингулятивы. Этот процесс совершался уже на общеславянской почве. Синкретизм выражения числовых значений сменился деривационной парадигмой форм единичности и собирательности; при этом собирательность, индифферентная в отношении форм своего выражения, в древних славянских языках, а, следовательно, и в праславянском, принимала как формы единственного, так и множественного числа. Так, общую форму **děťь* ‘дитя/дети’ сменили формы **děte* (а также ст.-слав. дѣтишть, др.-рус. дѣтичь и дѣтьць) – ед.ч. и **děti* (мн.ч.); на месте общей формы **l'udь* ‘человек/люди’ образовались единичное **l'udinь* и собирательно-множественное **l'udьje*.

Формы множественного числа *дѣти* и *людие* исконно имеют собирательное значение, на что указывает их сочетаемость с собирательными, а не количественными счетными словами (числительными), напр., др.-рус. *дѣвои людие* или совр. *трое детей*.

Оппозиция единичности и множественности сначала оформилась только в классе активных существ. Так, форма единичности на *-инь* типа *людинь*, *русинь*, *сѣминь*, *шуринь* применялась только в отношении лиц. Образования типа рус. *горошина*, *соломина*, *жемчужина*, тоже выражающие единичность, – поздние и иного происхождения. Это рефлекс того состояния праиндоевропейского языка, когда в нем существовала категория активности – инактивности, оказавшая существенное воздействие на грамматический строй, в частности, на формирование падежной системы, структуры предложения и типологию языка в целом.

Следует заметить, что современные словообразовательные типы имен собирательных представляют собой, по преимуществу, новообразования. Естественно, и функции у них иные – лексико-семантические, стилистические и т.д. Древние имена собирательные исконно выполняли роль выразителей множественности и в этой роли они включались в парадигмы грамматических форм множественного числа. Так, во всех древних славянских языках в парадигме слова *братъ* позицию формы множественного числа именительного падежа занимало собир. ед.ч. *братия/братрия*, которое само по себе склонялось в единственном числе. Морфологически правильная форма мн.ч. типа *brati* в древних славянских языках старшей письменной поры не обнаруживается (для именительного падежа!). Формы типа укр. *брати*, хорв. *brati* или чеш. *bratři* – поздние новообразования. Естественно, возникало противоречие между значением и функцией имени собирательного, с одной стороны, и грамматической формой выражения

единственного числа, – с другой. Разрешение этого противоречия – трансформация имен собирательных в подлинные формы множественного числа, т.е. плюрализация, составляющая одну из характерных закономерностей развития грамматического строя (грамматизацию) и общезыковую универсалию. В результате в славянских, как и в других индоевропейских языках, были утрачены древнейшие индоевропейские словообразовательные типы имен собирательных. Преобразуясь в формы множественного числа, они дали новые форматы множественности. Но некоторые из них лексикализировались и утратили прежние структурные связи.

В праиндоевропейском языке продуктивным суффиксом собирательного значения в пассивном классе имен был суффикс **-a (<*-aH)*. Именно собирательные на *-a* в истории индоевропейских языков в большой массе были осмыслены как грамматические формы множественного числа среднего рода, который софрмировался на базе вещного или пассивного класса. Следовательно, славянские формы мн.ч. *врата, кола, дрова, уста* – исконные имена собирательные пассивного класса. Иные образования этого типа осмыслены как формы единственного числа женского рода, например, слав. *слама*, рус. *солома* – это исконная собирательная форма к единичному, представленному в латышском словом *salms* ‘соломина’ и в греческом *κάλδος* ‘тростник’; слав. *зима*, лит. *žiema* и др.-греч. *χεῖμα* – собирательные к ед.ч. типа др.-инд. *himah* ‘холод’⁷.

В связи с судьбой этого типа в истории индоевропейских языков удаётся, как кажется, по-новому объяснить происхождение праславянского имени собирательного *братия* (*bratria*), а вместе с тем и словообразовательной модели имен собирательных женского рода на *-ия*, обозначающих совокупные множества лиц мужского пола. О том, что собир. *братия* в славянских языках – древнейшее слово этого типа, свидетельствует прямое соответствие ему в древнегреческом *φράτρία*. Все другие образования на *-ия* (др.-рус. *сѣмья, шурия, дядия, дружия, кѣнязия, зятія*) – более поздние и образованы по типу первого. Слав. **brātijā/*brātrijā* по происхождению аналогично форме множественного числа от др.-инд. *bhrātryam* (ед.ч. ср.р.) ‘братство’. Типологически это форма множественного числа среднего рода, принятая на славянской почве за форму единственного числа женского рода, что вообще нередко в истории новых европейских языков, например, романских, в которых, как известно, латинские формы мн.ч. ср.р. восприняты как формы ед.ч. ж.р. С происхождением этого типа связано согласование глагольного сказуемого с собир. *братия* во множественном числе, что было нормой древнерусского синтаксиса. Если это составное именное сказуемое, то при согласовании с подлежащим *братия* связка получает форму множественного числа, а именная часть, выраженная прилагательным, – форму единственного. Такое нарушение согласования невозможно объяснить иначе, как тем, что именная часть сказуемого мыслилась сначала как форма множественного числа среднего рода, но

была переосмыслена в форму единственного числа женского рода, как и форма подлежащего, например: др.-рус. *Братья в бѣдахъ пособива бываютъ* (ПВЛ, Лавр. сп., л 68) и серб. *Браћа су здрава* 'братья здоровы'.

Начавшийся в праязыке процесс парадигматизации форм единственного и множественного числа продолжался в истории славянских языков и отражен в древней письменности и в диалектах. Он выражается в падении форм единичности на *-ин* в южных и западных славянских языках, в некотором сокращении их количества по сравнению с древними в современных восточнославянских языках⁸. Значение единичности абстрагируется в формах единственного числа. Вместе с тем имена собирательные преобразуются в грамматические формы множественного числа в соответствии с их древнейшей функцией. В целом категории единичности и собирательности растворяются в широкой грамматической парадигме форм единственного и множественного числа. Магистральная линия развития категории числа в истории славянских языков направлена от словообразования к словоизменению. Благодаря флективному выражению своих значений грамматическая категория числа стала универсальной, облигаторной категорией словоизменения.

Флективные формы единственного числа исконно являются формами номинации, поэтому наряду с обычным количественным значением единичности они характеризуются семантическим признаком единства, целостности и нерасчлененности выражаемых понятий. Соотносительные формы множественного числа выражали два типа значений множественности – количественную (простое множественное число) и собирательную (качественное множественное). Первое значение проявлялось сочетаемостью с количественными числительными, а второе – с собирательными. От имен собирательных возможно было образование форм множественного числа, но не в привычном сейчас значении множества однородных единиц, а в особом значении расчлененности, дискретности совокупного множества, например: слав. ед.ч. *камене* – мн.ч. *каменя* (совр. мн.ч. *каменя*), ед.ч. *листвие* (*листвие*) – мн.ч. *листя* (совр. мн.ч. *листья*), ед.ч. *трупие* – мн.ч. *трупия* (*трупья*) и под. Это семантическое отношение форм единственного и множественного числа имен собирательных в дальнейшем было преобразовано в абстрагированном количественном противопоставлении, формы множественного числа на *-ья* типа *каменя*, *листья*, *деревья* и т.п. вытеснили имена собирательные в функции выражения множественности: русск. *камень* – *каменя*, *дерево* – *деревья*, *лист* – *листья* и под. Переход функции выражения множественного числа от имен собирательных к грамматическим формам в истории славянских языков означал формализацию числовых оппозиций, определившую в дальнейшем словоизменительный, грамматический характер категории числа.

Категория двойственного числа, унаследованная из индоевропейского языкового состояния, в древних языках представлена весьма неравномерно – наиболее полно в ведийском и авестийском, в состоянии

разрушения – в диалектах древнегреческого языка, совсем отсутствует в хеттском, италийских и кельтских (в латинском языке удержались формы количественных слов с окончанием двойственного числа: *ambō* ‘оба – тот и другой’ и *duō* ‘два’), из германских и балтийских формы двойственного числа есть только в готском (у местоимений и глаголов 1 и 2 лица), двойственное число отмечено в говорах литовского языка, но отсутствует в древнепрусском. На этом фоне славянская парадигма двойственного числа, сохраненная с поразительной целостностью в старославянской книжности, порой представляется как новая, искусственно возрожденная в целях архаизации сакрального языка⁹. Но такое представление безосновательно. В славянских языках старшей письменной поры наблюдается падение двойственного числа, особенно интенсивно с 13 по 15 век, а старославянская письменность вообще не содержит каких-либо данных, которые свидетельствовали бы о более ранней утрате двойственного числа. Здесь нет отклонений от нормы. Древнеславянская письменность, включая и древнерусскую, сохранила ряд очень древних форм двойственного числа, подобных древнеиндийским. Пример 1: сочетание *братъсестра*: бѣаста Ѡтолѣ яко *братъсестра* ѡба (Жит. Авкс. 14 Мин. Чет. февр. 198) (Срезневский I, стб. 173), в форме дательного-творительного падежей: стра^ѣ Евлампя и Евлампия... присныма *братъсестрома* (Остр. ев. 228; Арх. ев. 192). Пример 2 (указан А.И. Соболевским¹⁰): перенесена быста *Бориса* и *Глѣба* (Новг. 1-я лет. по Син. сп. 14 в.), где каждое имя собственное самостоятельно принимает форму двойственного числа: *Бориса* вместо *Борисъ* и *Глѣба* вместо *Глѣбъ*. Это своеобразные типы эллиптического двойственного, архаический характер которого не вызывает сомнений.

Семантически двойственное число основывается на представлении о естественной двоичности, парности и, полагаем, в первую очередь – на осознании симметрии тела, взаимодействии двух одинаковых органов и далее – на двучастности мироздания (например: земля и небо) и т.п., но прежде всего – это естественная парность. В старославянской письменности в формах свободного двойственного числа последовательно употребляются следующие слова: *вѣжда* – *вѣждѣ* (*вѣжди*), *вѣко* – *вѣцѣ*, *глезно* – *глезнѣ*, *голѣнь* – *голѣни*, *исто* – *истесѣ*, *колѣно* – *колѣнѣ*, *крило* – *крилѣ*, *ланита* – *ланитѣ*, *нога* – *нозѣ*, *око* – *очи*, *пазуха* – *пазусѣ*, *плесна* – *плеснѣ*, *плеште* – *плешти*, *поль* – *польѣ*, *рамо* – *рамѣ*, *ржка* – *ржцѣ*, *слухъ* – *слуха*, *стыгно* – *стыгнѣ*, *съсьць* – *съсьца*, *устъна* – *устънѣ*, *ухо* – *уши* и т.п.

Нами тщательно изучены все случаи употребления этих слов в старославянских памятниках письменности. В результате выяснилось, что они имеют формы трех чисел – единственного, двойственного и множественного. Формы двойственного числа соотносятся с одним лицом, формы множественного числа встретились в контекстах, где речь идет о множестве лиц или вообще живых существ. Однако не отмечено ни одного случая, чтобы множественным числом была обозначена пара органов или частей тела одного лица.

Условием функционирования форм двойственного числа в древних славянских языках была неперемнная, обязательная соотносительность их с формами единственного числа в значении одного лица или предмета. Формы двойственного числа не существовали отдельно от единственного. Поэтому в условиях живого функционирования форм двойственного числа невозможна была их лексикализация. Двойственное число выражало соединение или единство двух однородных, функционально связанных, взаимодействующих, соотнесенных друг с другом, но все же раздельных, самостоятельных предметов или частей целого. Двойственное и множественное различались по значению и выражению (формально), но они не занимали взаимно исключающих позиций. В старославянских текстах формы дистрибутивного двойственного и формы множественного у названий парных или двучастных предметов употреблялись в значениях, соответствующих одному и тому же действительному содержанию, замещая друг друга, ср. формы мн.ч. *ржкы* и дв.ч. *ржцѣ* в аналогичных контекстах: 1) двойственное число: на *ржкоу възмѣтъ тѣа* (Марин. ев., Мтф. IV, 5, 8, 12); въ *ржцѣ члѣвомѣ* (60.8); възложиша *ржцѣ* (102.4); истираѣште *ржкама* (класы) (214.27); 2) множественное число: не оумываѣтъ бо *ржкъ* своихъ (Мтф. XV, 2, 51, 12); прѣдаатъ сѧ въ *ржкы* грѣшъникомъ (101.17); въ *ржахъ* змиѧ възмѣтъ (Мрк. 185.3); *ржкы*... възложатъ (185.6), на *ржахъ* възмѣтъ тѧ (Лк. IV.11); възложатъ на вы *ржкы* своѧ (Лк. XXI.12).

Эти и подобные факты убедительно свидетельствуют, что двойственное и множественное находились по одну сторону оппозиции единственному числу. И в целом категория числа не представляла собой тройственной оппозиции форм, как обычно считается: формы единственного числа противопоставлялись формам двойственного и множественного, но формы двойственного числа не противопоставлялись формам множественного. Поэтому абстрагирование количественных понятий и формирование абстрактного числового ряда, грамматической парадигмы, поглотившей конкретные множества, нашло свое выражение во взаимодействии форм двойственного и множественного числа, в историческом переосмыслении и преобразовании форм двойственного числа в формы множественного и, наконец, в поглощении категории двойственности обобщенной и абстрагированной множественностью.

Примечания

¹ Тронский И.М. Оценкоевропейское языковое состояние (вопросы реконструкции). Л., 1967, 50.

² Он же. К семантике множественного числа в греческом и латинском языках // Уч. зап. ЛГУ. Серия филол. наук. Вып. 10, 1946, 62.

³ См.: Савченко А.Н. Сравнительная грамматика индоевропейских языков. М., 1974, 16.

⁴ См.: Шантрён П. Историческая морфология греческого языка. М., 1953, 97.

- ⁵ Кудрявский Д.Н. Грамматика древнегреческого языка. Тарту, 1964, 269.
- ⁶ См.: Кумахов М.А. Число и грамматика // ВЯ. 1969. № 4, 67.
- ⁷ См. об этом: Schmidt I. Die Pluralbildungen der indogermanischen Neutra. Weimar, 1889; Трубачев О.Н. Заметки по этимологии и сравнительной грамматике // Этимология. 1968. М., 1971, 24–67; Дегтярев В.И. Рефлексы индоевропейской формы собирательности на *-ā в балтийских и славянских языках // Baltistica, 1994, № 4. Priedas.
- ⁸ См.: Дегтярев В.И. Плюрализация имен собирательных в истории славянских языков // ВЯ 1987, № 5, 59–73.
- ⁹ См.: Dostál A. Vývoj duálu v slovanských jazycích, zvláště v polštině. Praha, 1954, 17–24.
- ¹⁰ См.: Соболевский А.И. Лекции по истории русского языка. Изд. 2. СПб., 1891, 187.

Н.В. Чурмаева*

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Нет никакого противоречия в том, что исторические словари, являющиеся основным источником исследований по исторической лексикологии, сами создаются в результате лексикологических исследований. Это положение в настоящее время так общеизвестно и бесспорно, что на нем нет необходимости настаивать.

Общеизвестно и другое: исторический словарь – это словарь текстов. Все данные о слове лексикограф должен соотнести с условиями текста и в конечном счете руководствоваться только им. Как писала Л.Л. Кутина в одной из своих работ, "показ уровня употребления является принципиальным требованием для исторического словаря". Это означает, что из всех своих знаний о слове лексикограф отразит в словарной статье лишь те, которые согласуются с текстом. Различие между методологией исследования лексики и методом ее описания в словаре нередко приводит к противоречиям семантического плана, снять которые могут только дальнейшие исследования.

Как и в любом другом исследовании, при определении значения слова в словаре важна доказательность. Отказ от нее, диктуемый традиционным типом исторического словаря, весьма осложняет работу лексикографа-историка и оставляет его труд в какой-то степени незаконченным. В данном случае речь идет не о таких словах как, например, *хлѣбъ*, значение которого со всей его бытовой и религиозно-отвлеченной символикой является устойчивым и хорошо изученным. Речь идет о редких словах, для которых текст является основным источником сведений о значении для лексикографа и основным доказательством правильности толкования для читателя словаря. Степень же информативности текстов, как известно, бывает разной.

Встречаются "прозрачные" тексты, не только иллюстрирующие, но и доказывающие правильность определения. Например, для слова *епископъ* 'наблюдатель': *скопъ холмъ высокъ наричеться. на*

* © Н.В. Чурмаева